

The background of the book cover is a classical painting depicting three women in 18th-century attire. One woman is seated on the left in a pink dress, another in the center in a yellow dress, and a third on the right in a light blue dress. They are all looking towards the right. In the upper right corner, a man in a brown coat is partially visible, looking down. The painting is framed by a gold border.

*Я встречу Вас...  
Пушкин и любовь*

**Анна Керн**

**Чудное мгновение**

*Дневник муз  
Пушкина*

Анна Керн

**Чудное мгновение.  
Дневник музы Пушкина**

«Алисторус»

2014

## **Керн А. П.**

Чудное мгновенье. Дневник музы Пушкина / А. П. Керн —  
«Алисторус», 2014

Имя Анны Петровны Керн обессмертил Пушкин своим лирическим шедевром «Я помню чудное мгновенье». Общество этой незаурядной, редкого обаяния женщины любили Пушкин и Глинка, Дельвиг и Веневитинов... Какой она была, реальная Анна Керн, из рода состоятельного чиновного дворянства, в замужестве Маркова-Виноградская? Каким она видела боготворившего ее русского гения? Какие чудные мгновенья испытала в жизни, не всегда благосклонной к ней? Как нельзя лучше об этом свидетельствуют страницы ее собственных воспоминаний и дневников, которые читаются как увлекательный роман.

© Керн А. П., 2014

© Алисторус, 2014

## Содержание

Воспоминания о Пушкине	5
Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке	19
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Анна Петровна Керн

## Чудное мгновение. Дневник музы Пушкина

### Воспоминания о Пушкине

Вам захотелось, почтенная и добрая Е.Н., узнать некоторые подробности моего знакомства с Пушкиным. Спешу исполнить ваше желание. Начну с начала и выдвину перед вами, еще кроме Пушкина, несколько лиц, вам очень знакомых и всем известных.

Я воспитывалась в Тверской губернии, в доме родного деда моего по матери, вместе с двоюродною сестрою моею, известною вам Анною Николаевною Вульф, до 12 лет возраста. В 1812 г. меня увезли от дедушки в Полтавскую губернию, а 16 лет выдали замуж за генерала Керна.

В 1819 г. я приехала в Петербург с мужем и отцом, который, между прочим, представил меня в дом его родной сестры, Олениной. Тут я встретила двоюродного брата моего Полторацкого<sup>1</sup>, с сестрами которого я была еще дружна в детстве. Он сделался моим спутником и чичероне в кругу незнакомого для меня большого света. Мне очень нравилось бывать в доме Олениных, потому что у них не играли в карты, хотя там и не танцевали, по причине траура при дворе<sup>2</sup>, но зато играли в разные занимательные игры и преимущественно в *charades en action*<sup>1</sup>, в которых принимали иногда участие и наши литературные знаменитости – Иван Андреевич Крылов, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол и другие.

В первый визит мой к тетушке Олениной батюшка, казавшийся очень немногим старше меня, встретясь в дверях гостиной с Крыловым, сказал ему: «Рекомендую вам меньшую сестру мою». Иван Андреевич улыбнулся, как только он умел улыбаться, и, протянув мне обе руки, сказал: «Рад, очень рад познакомиться с сестрицей». На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина<sup>3</sup> и не заметила его: мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев<sup>4</sup> и другие. Не помню, за какой-то фант Крылова заставили прочесть одну из его басен. Он сел на стул посередине залы; мы все столпились вокруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего Осла. И теперь еще мне слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес: «Осел был самых честных правил!»<sup>5</sup>

В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и, когда я держала корзинку с цветами, Пушкин, вместе с братом Александром Полторацким, подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал: «*Et c'est sans doute Monsieur qui fera l'aspic?*»<sup>2</sup> Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла.

После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, без чинов. Да и какие могли быть чины там, где просвещенный хозяин ценил и дорожил только науками и искусствами? За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как, например: «*Est-il permis d'être ainsi jolie!*»<sup>3</sup> Потом завязался между ними шуточный разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком

---

<sup>1</sup> Шарady (*фр.*).

<sup>2</sup> А роль змеи, как видно, предназначается этому господину? (*фр.*)

<sup>3</sup> Можно ли быть такой хорошенькой! (*фр.*)

случае, в аду будет много хороших, там можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Ну, как же ты теперь, Пушкин?» – спросил брат. «Je me ravise<sup>4</sup>, – ответил поэт, – я в ад не хочу, хотя там и будут хорошие женщины...»

Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала и брат сел со мною в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами.

Впечатление его встречи со мною он выразил в известных стихах:

Я помню чудное мгновенье,

и проч.

Вот те места, в 8-й главе Онегина<sup>6</sup>, которые относятся к его воспоминаниям о нашей встрече у Олениных:

...Но вот толпа заколебалась,  
По зале шепот пробежал,  
К хозяйке дама приближалась...  
За нею важный генерал.  
Она была не тороплива,  
Не холодна, не говорлива,  
Без взора наглого для всех,  
Без притязанья на успех,  
Без этих маленьких ужимок,  
Без подражательных затей;  
Все тихо, просто было в ней.  
Она, казалось, верный снимок  
Du comme il faut... прости,  
Не знаю, как перевести!  
К ней дамы подвигались ближе,  
Старушки улыбались ей,  
Мужчины кланялись ниже,  
Ловили взор ее очей,  
Девушки проходили тише  
Пред ней по зале: и всех выше  
И нос и плечи подымал  
Вошедший с нею генерал  
....  
Но обратится к нашей даме.  
Беспечной прелестью мила,  
Она сидела у стола  
....  
Сомненья нет, увы! Евгений  
В Татьяну, как дитя, влюблен.  
В тоске любовных помышлений  
И день и ночь проводит он.  
Ума не внемля строгим пеням,  
К ее крыльцу, к стеклянным сеням,

---

<sup>4</sup> Я раздумал (*фр.*)

Он подъезжает каждый день,  
За ней он гонится, как тень;  
Он счастлив, если ей накинёт  
Боа пушистый на плечо,  
Или коснется горячо  
Ее руки, или раздвинет  
Пред нею пестрый полк ливрей,  
Или платок поднимет ей!

Прожив несколько времени в Дерпте, в Риге, в Пскове, я возвратилась в Полтавскую губернию, к моим родителям. В течение 6 лет я не видела Пушкина, но от многих слышала про него, как про славного поэта, и с жадностью читала: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Разбойники» и 1-ю главу «Онегина»<sup>7</sup>, которые доставлял мне сосед наш Аркадий Гаврилович Родзянко, милый поэт, умный, любезный и весьма симпатичный человек. Он был в дружеских отношениях с Пушкиным и имел счастье принимать его у себя в деревне Полтавской губернии, Хорольского уезда. Пушкин, возвращаясь с Кавказа, прискакал к нему с ближайшей станции, верхом, без седла, на почтовой лошади, в хомуте...<sup>8</sup>

Во время пребывания моего в Полтавской губернии я постоянно переписывалась с двоюродною сестрою моею, Анною Николаевною Вульф, жившею у матери своей в *Тригорском*, Псковской губернии, Опочецкого уезда, близ деревни Пушкина *Михайловского*.

Она часто бывала в доме Пушкина<sup>9</sup>, говорила с ним обо мне и потом сообщала мне в своих письмах различные его фразы; так, в одном из них она писала: «Vous avez produit une vive impression sur Pouchkine à votre rencontre, chez Olenine; il dit partout: elle était trop brillante»<sup>5</sup>. В одном из ее писем Пушкин приписал сбоку, из Байрона: «Une image qui a passé devant nous, que nous avons vue et que nous ne reverrons jamais»<sup>6</sup>. Когда же он узнал, что я выдаюсь с Родзянко, то переслал через меня к нему письмо, в котором были расспросы обо мне и стихи:

Наперсник Феба иль Приапа,  
Твоя соломенная шляпа  
Завидней, чем иной венец,  
Твоя деревня Рим, ты папа,  
Благослови ж меня, певец!

Далее в том же письме он говорит: «Ты написал «Кохлячку, Баратынский Чухонку, я Цыганку, что скажет Аполлон?» и проч. и проч.<sup>10</sup>, дальше не помню, неверно цитировать не хочу. После этого мне с Родзянко вздумалось полюбезничать с Пушкиным, и мы вместе написали ему шуточное послание в стихах. Родзянко в нем упоминал о моем отъезде из Малороссии и о несправедливости намеков Пушкина на любовь ко мне. Послание наше было очень длинно, но я помню только последний стих:

Прощайте, будьте в дураках!

Ответом на это послание были следующие стихи, отданные мне Пушкиным<sup>11</sup>, когда я через месяц после этого встретила с ним в Тригорском.

---

<sup>5</sup> Ты произвела сильное впечатление на Пушкина во время вашей встречи у Олениных; он всюду говорит: она была ослепительна (*фр.*).

<sup>6</sup> Промелькнувший перед нами образ, который мы видели и никогда более не увидим (*фр.*).

Вот они:

Ты обещал о романтизме,  
О сем Парнасском афеизме  
Потолковать еще со мной;  
Полтавских муз поведать тайны,—  
А пишешь лишь об ней одной.  
Нет, это ясно, милый мой,  
Нет, не влюблен Пирон Украины.  
Ты прав, что может быть важней  
На свете женщины прекрасной?  
Улыбка, взор ее очей  
Дороже злата и честей,  
Дороже славы разногласной;  
Поговорим опять об ней.  
Хвалю, мой друг, ее охоту,  
Поотдохнув, рожать детей,  
Подобных матери своей,  
И счастлив, кто разделит с ней  
Сию приятную заботу,  
Не наведет она зевоту.  
Дай бог, чтоб только Гименей  
Меж тем продлил свою дремоту!  
Но не согласен я с тобой,  
Не одобряю я развода,  
Во-первых, веры долг святой,  
Закон и самая природа...  
А во-вторых, замечу я,  
Благопристойные мужья  
Для умных жен необходимы:  
При них домашние друзья  
Иль чуть заметны, иль незримы.  
Поверьте, милые мои,  
Одно другому помогает,  
И солнце брака затмевает  
Звезду стыдливую любви.

*А. Пушкин Михайловское.*

Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки моей, в Тригорском, в 1825 г.<sup>12</sup> в июне месяце. Вот как это было. Мы сидели за обедом и смеялись над привычкой одного г-на Рокотова<sup>13</sup>, повторяющего беспрестанно: «Pardonnez ma franchise» и «Je tiens beaucoup à votre opinion»<sup>7</sup>. Как вдруг вошел Пушкин с большой, толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол; он обедал у себя, гораздо раньше, и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, chien-loop<sup>8</sup>. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость видна была в его

---

<sup>7</sup> «Простите за откровенность» и «Я весьма дорожу вашим мнением» (*фр.*).

<sup>8</sup> Волкодавами (*фр.*).



движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться; он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, – и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Раз он был так нелюбезен, что сам в этом сознался сестре, говоря: «Ai-je été assez vulgaire aujourd'hui!»<sup>9</sup> Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его... Так, один раз мы восхищались его тихой радостью, когда он получил от какого-то помещика при любезном письме охотничий рог на бронзовой цепочке, который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял: «Charmant! Charmant!»<sup>10</sup> Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротой и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров<sup>14</sup>. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в Подснежнике. Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество. Однажды с этою целью явился он в Тригорское с своею большою черною книгою, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих «Цыган»<sup>15</sup>. Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу!.. Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаявала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих «Цыганах»:

И голос шуму вод подобный.

Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское<sup>16</sup>. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июньская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах: тетушка с сыном в одном; сестра, Пушкин и я в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно веселым и любезным. Он шутил без острот и сарказмов; хвалил луну, не называл ее глупою<sup>17</sup>, а говорил: «J'aime la lune quand elle éclaire un beau visage»<sup>11</sup>, хвалил природу и говорил, что он торжествует, воображая в ту минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а он уехал со мною; это был намек на то, как он завидовал при нашей первой встрече А. Полторацкому, когда тот уехал со мною. Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запущенный сад, «Приют задумчивых дриад»<sup>18</sup>, с длинными аллеями старых деревьев, корни которых, сплетаясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавши туда вслед за нами, сказала: «Mon cher Pouchkine, faites les honneurs de votre jardin à Madame»<sup>12</sup>. Он быстро подал мне руку и побежал скоро, скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Подробностей разговора нашего не помню; он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно и в конце разговора сказал: «Vous aviez un air si virginal; n'est ce pas que vous aviez sur vous quelque chose comme une croix?»<sup>13</sup>

<sup>9</sup> До чего же я был неучтив сегодня! (фр.)

<sup>10</sup> Чудесно! Чудесно! (фр.)

<sup>11</sup> Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо (фр.).

<sup>12</sup> Мой милый Пушкин, будьте же гостеприимны и покажите госпоже ваш сад (фр.)

<sup>13</sup> Вы выглядели такой невинной девочкой; на вас было тогда что-то вроде крестика, не правда ли? (фр.)

На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою Анной Николаевной Вульф. Он пришел утром и на прощанье принес мне экземпляр 2-й главы Онегина<sup>19</sup>, в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами:

Я помню чудное мгновение

и проч. и проч.

Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, который их поместил в своих Северных цветах. Михаил Иванович Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя<sup>20</sup>.

Во время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова:

Ночь весенняя дышала  
Светлоюжною красой,  
Тихо Брента протекала,  
Серебримая луной, и проч.<sup>21</sup>

Мы пели этот романс Козлова, на голос «Benedetto, sia la madre»<sup>14</sup>, баркаролы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку и Писал в это время Плетневу: «Скажи старцу Козлову, что здесь есть одна прелесть, которая поет его ночь. Как жаль, что он ее не увидит! дай бог ему ее слышать!»<sup>22</sup>

Итак, я переехала в Ригу. Тут гостили у меня сестра, приехавшая со мною, и тетюшка со всем семейством. Пушкин писал из Михайловского к ним обеим; в одном из своих писем тетюшке он очертил мой портрет<sup>23</sup> так:

*«Хотите знать, что такое г-жа К...? – она изящна; она все понимает; легко огорчается и так же легко утешается; у нее робкие манеры и смелые поступки, – но при этом она чудно как привлекательна»<sup>15</sup>.*

Его письмо к сестре очень забавно и остро, выписываю здесь то, что относилось ко мне:

*«Все Тригорское распеваает: не мила ей прелесть ночи, и сердце мое сжимается, слушая эту песню. Вчера я четыре часа сряду говорил с Алексисом; никогда еще не было у нас такого длинного разговора. Что же вдруг соединило нас? Скука? Сродство чувств? Право, и сам не знаю. Каждую ночь я гуляю в своем саду и говорю себе: «Здесь была она... камень, о который она споткнулась<sup>1)</sup>, лежит на моем столе подле увядшего гелиотропа<sup>2)</sup>. Наконец я много пишу стихов. Все это, если хотите, крепко похоже на любовь, но боюсь вам, что о ней и помину нет. Будь я влюблен, – я бы, кажется, умер в воскресенье от бешеной ревности, – а между тем мне просто было досадно<sup>3)</sup>. Но все-таки мысль, что я ничего не значу для нее, что, заняв на минуту ее воображение, я только дал пищу ее веселому любопытству, – мысль, что воспоминание обо мне не нагонит на нее рассеянности среди ее триумфов и не омрачит сильнее лица ее в грустные минуты, – что прекрасные глаза ее остановятся на каком-нибудь рижском фате с тем же пронзающим и сладострастным выражением, – о, эта мысль невы-*

---

<sup>14</sup> «Пусть благословенна будет мать» (ит.).

<sup>15</sup> Здесь и далее курсивом выделен текст, в оригинале написанный по-французски

носи́ма для меня... Скажите ей, что я умру от этого... нет, лучше не говорите, а то это восхитительное создание станет смеяться надо мною. Но скажите ей, что если в сердце ее не таится сокровенная нежность ко мне, если нет в нем таинственного и меланхолического влечения, – то я презираю ее – слышите ли – презираю, не обращая внимания на удивление, которое вызовет в ней такое небывалое чувство.

21 июля».

<sup>1)</sup> Никакого не было камня в саду, а споткнулась я о переплетенные корни деревьев. (Примеч. А. П. Керн.)

<sup>2)</sup> Веточку гелиотропа он точно выпросил у меня. (Примеч. А. П. Керн)

<sup>3)</sup> Ему досадно было, что брат поехал провожать сестру свою в меня и сел вместе с вами в карету (Примеч. А. П. Керн.)

Вскоре ему захотелось завязать со мной переписку, и он написал мне следующее письмо<sup>24</sup>:

*«Я имел слабость просить у вас позволения писать к вам, а вы, по ветрености или кокетству, позволили мне это. Я знаю, что переписка не ведет ни к чему; но у меня нет силы устоять против искушения – иметь у себя хоть одно слово, написанное вашей хорошенькой ручкой. Ваш приезд в Тригорское произвел на меня впечатление гораздо живее и тягостнее, чем некогда наша встреча у Олениных. Теперь, в глуши моей печальной деревни, мне ничего не остается лучше, как перестать думать о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости, – вы должны бы сами желать мне этого; но ветреность всегда жестока; и вся ваша братья, вертя как попало чужие головы, восхищается сознанием, что есть на свете душа, страдающая в честь и славу вам. – Прощайте, божество; я мучусь от бешенства и целую ваши ножки... Тысячу любезностей Ермолаю Федоровичу и сердечный поклон Вульф».*

25 июля.

*Я снова берусь за перо, потому что умираю от скуки и могу заниматься только вами. Надеюсь, что вы прочтете это письмо украдкой... Скажите, спрячете ли вы его опять на груди? станете ли отвечать мне подробно? Ради бога, пишите мне все, что придет вам в голову. Если вы боитесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, – перемените почерк, подпишите какое хотите имя, сердце мое и так узнает вас. – Если слова ваши будут так же сладки, как и ваши взгляды, тогда, увя! я постараюсь поверить им, или же обмануть себя – это одно и то же. Знаете что, я перечитываю то, что написал, и стыжусь их сентиментального тона... что скажет... Анна Николаевна? Ах вы чудотворка или чудотворица!»*

Получа это письмо, я тотчас ему отвечала и с нетерпением ждала от него второго письма; но он это второе письмо вложил в пакет тетушкин, а она не только не отдала мне его, но даже не показала. Те, которые его читали, говорили, что оно было прелесть как мило.

В другом письме его было:

*«Пишите мне, да побольше, и вдоль, и поперек, и по диагонали».*

Мне бы хотелось сделать много выписок из его писем; они все были очень милы, но ограничусь еще одним:

*«Не правда ли, что в письмах я гораздо любезнее, чем в натуре? Но приезжайте в Тригорское, и я обещаю вам, что буду необыкновенно любезен. Я буду весел в понедельник, экзальтирован во вторник, нежен в среду, проворен и ловок в четверг, пятницу, субботу и воскресенье – я буду всем, чем вы прикажете, и целую неделю у ваших ног».*

Через несколько месяцев я переехала в Петербург и, уезжая из Риги, послала ему последнее издание Байрона, о котором он так давно хлопотал, и получила еще одно письмо, чуть ли не самое любезное из всех прочих, так он был признателен за Байрона! Не воздержусь, чтобы не выписать вам его здесь:

*«Я никак не ожидал, что вы вспомните обо мне, – и благодарю вас за это от всей души. Теперь Байрон получил в глазах моих новую прелесть, и все героини его примут в воображении моем те черты, которых нельзя позабыть. В Гюльнаре и Лейле я буду видеть вас... Итак, вы, опять вы посылаетесь мне судьбою и проливаете очарование на мое уединение, – вы, ангел утешения... Но я неблагодарный – потому что смею еще роптать... Вы едете в Петербург – теперь мое изгнание тяжеле для меня, чем когда-либо. – Может быть, недавно случившаяся перемена сблизит меня с вами – но я не смею надеяться на это. – Надежде нельзя верить; она – хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем... Кстати, моя милая фея, что делает ваш? Знаете ли, что в его образе я представлял себе всех врагов Байрона, в том числе и жену его?»*

8 декабря.

*Я снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, а подчас ненавижу, что третьего дня я рассказывал о вас ужасные вещи, что я целую ваши прекрасные ручки, и снова целую их, в ожидании больших благ, – что положение мое невыносимо, что вы божественны и пр. и пр. и пр.»*

С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, в доме его родителей, где я бывала почти всякий день и куда он приехал из своей ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев<sup>25</sup>. Он был тогда весел, но чего-то ему не доставало. Он как будто не был так доволен собою и другими, как в Тригорском и Михайловском. Я полагаю, что император Александр I, заставляя его жить долго в Михайловском, много содействовал к развитию его гения. Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась. Дружья не покидали его в ссылке. Некоторые посещали его, а именно: Дельвиг, Баратынский и Языков<sup>26</sup>, а другие переписывались с ним, и он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей.

Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута<sup>27</sup>, его родители на Фонтанке, у Семеновского моста, я с отцом и сестрою близ Обухова моста<sup>28</sup>, и он иногда заходил к нам, отправляясь к своим родителям. Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник. В год возвращения его из Михайловского именины<sup>29</sup> свои праздновал он в доме родителей, в семейном кружку и был очень мил. Я в этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абрам Сергеевич Норов<sup>30</sup>, подойдя ко мне с Пушкиным, сказал: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили, а он так много вам писал прекрасных стихов?» – «И в самом деле, – отвечала я, – мне бы надо подарить вас чем-нибудь: вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне». Он взял кольцо,

надел на свою маленькую, прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое. В этот вечер мы говорили о Льве Сергеевиче, который в то время служил на Кавказе<sup>31</sup>, и я, припомнив стихи, написанные им ко мне, прочитала их Пушкину.

Вот они:

Как можно не сойти с ума,  
Внимая вам, на вас любясь;  
Венера древняя мила,  
Чудесным поясом красуясь,  
Алкмена, Геркулеса мать,  
С ней в ряд, конечно, может стать,  
Но, чтоб молили и любили  
Их так усердно, как и вас,  
Вас спрятать нужно им от нас,  
У них вы лавку перебили!

*А. Пушкин*

Пушкин остался доволен стихами брата и сказал очень наивно: «И он тоже очень умен». *Il a aussi beaucoup d'esprit!*» На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов; но мне нужно было ехать с графинею Ивелич<sup>32</sup>, и я предложила ему прокатиться к ней в лодке. Он согласился, и я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Триторском. Он шутил с лодочником, уговаривая его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове<sup>33</sup>, и он сказал: «*Отчего вы позволили ему умереть? Он ведь тоже был влюблен в вас, не правда ли?*»

На это я отвечала ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут, кстати, я рассказала ему о наших беседах с Веневитиновым, полных той высокой чистоты и нравственности, которыми он отличался; о желании его нарисовать мой портрет и о моей скорби, когда я получила от Хомякова<sup>34</sup> его посмертное изображение. Пушкин слушал мой рассказ внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт... Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась.

Коснувшись светлых воспоминаний о Веневитинове, я не могу воздержаться, чтобы не выписать стихов Дельвига, написанных на смерть его в моем черном альбоме, рядом с портретом Веневитинова: они напоминают прекрасную душу так рано оставившего нас поэта.

На смерть веневитинова  
Д е в а  
Юноша милый! на миг ты в наши игры вмешался.  
Розе подобный красотой, как филомела ты пел.  
Сколько любовь потеряла в тебе поцелуев и песен,  
Сколько желаний и ласк новых, прекрасных, как ты!

Р о з а  
Дева, не плачь! я на прахе его в красоте расцветаю.  
Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим.  
Ах! и любовь бы изменою душу певца отравила!  
Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой<sup>35</sup>.

Зимой 1828 года Пушкин писал Полтаву<sup>36</sup> и, полный ее поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне в комнату, повторяя последний, написанный им стих; так, он раз вошел, громко произнося:

Ударил бой, Полтавский бой!

Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему, или почему-нибудь запавший ему в душу. Он, напр., в Тригорском беспрестанно повторял:

Обманет, не придет она!..<sup>37</sup>

Посещая меня, он рассказывал иногда о своих беседах с друзьями и однажды, встретив у меня Дельвига с женою, передал свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать: бывывало? Кто-то заметил, что можно даже сказать бывывало. «Очень можно, проговорил Крылов, да только этого и трезвому не выговорить!»

Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом – совершенный слепок с того уездной барышни альбома, который описал Пушкин в Онегине, и он стал в нем переводить французские стихи на русский язык и русские на французский.

В альбоме было написано:

Oh, si dans L'immortelle vie  
Il existait un etre parfait.  
Oh, mon aimable et douce amie,  
Comme toi sans doute il est fait etc., etc.

Пушкин перевел:

Если в жизни поднебесной  
Существует дух прелестный,  
То тебе подобен он,  
Я скажу тебе резон:  
Невозможно!

Под какими-то весьма плохими стихами было написано: «Ecrit dans mon exil»<sup>16</sup>. Пушкин приписал:

Amour, exil<sup>17</sup> —  
Какая гиль!

Дмитрий Николаевич Барков<sup>38</sup> написал одни, всем известные стихи не совсем правильно, и Пушкин, вместо перевода, написал следующее:

Не смею вам стихи Баркова  
Благопристойно перевесть

---

<sup>16</sup> Написано в моем изгнании (фр.).

<sup>17</sup> Любовь, изгнание (фр.).

И даже имени такова  
Не смею громко произнести!

Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, и я никогда не забуду его игривой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты.

В подобном расположении духа он раз пришел ко мне и, застав меня за письмом к меньшей сестре<sup>39</sup> моей в Малороссию, приписал в нем:

Когда помилует нас бог,  
Когда не буду я повешен,  
То буду я у ваших ног,  
В тени украинских черешен.

В этот самый день я восхищалась чтением его Цыган в Тригорском и сказала: «Вам бы следовало, однако ж, подарить мне экземпляр Цыган в воспоминание того, что вы их мне читали». Он прислал их в тот же день, с надписью на обертке всеми буквами: Ее Превосходительству А.

П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя. Трактир Демут, № 10<sup>40</sup>.

Несколько дней спустя он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня как святыня), написал на какой-то записке:

Я ехал к вам. Живые сны  
За мной вились толпой игривой,  
И месяц с правой стороны  
Осеребрял мой бег ретивый.

Я ехал прочь. Иные сны...  
Душе влюбленной грустно было,  
И месяц с левой стороны  
Сопровождал меня уныло!

Мечтанью вечному в тиши  
Так предаемся мы, поэты,  
Так суеверные приметы  
Согласны с чувствами души<sup>41</sup>.

Писавши эти строки и напевая их своим звучным голосом, он, при стихе:

И месяц с левой стороны  
Сопровождал меня уныло! —

заметил, смеясь: «Разумеется, с левой, потому что ехал назад!»

Это посещение, как и многие другие, полно было шуток и поэтических разговоров.

В это время он очень усердно ухаживал за одной особой, к которой были написаны стихи: «Город пышный, город бедный...» и «Пред ней, задумавшись, стою...»<sup>42</sup>. Несмотря, однако ж, на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об ней с нежностью и однажды, рассуждая о маленьких ножках, сказал: «Вот, например, у ней вот

какие маленькие ножки, да черт ли в них?» В другой раз, разговаривая со мною, он сказал: «Сегодня Крылов просил, чтобы я написал что-нибудь в ее альбом». – «А вы что сказали?» – спросила я. «А я сказал: Ого!» В таком роде он часто выражался о предмете своих воздыханий.

Когда Дельвиг с женою уехали в Харьков<sup>43</sup>, я с отцом и сестрою перешла на их квартиру. Пушкин заходил к нам узнавать о них и раз поручил мне переслать стихи к Дельвигу, говоря: «Да смотрите, сами не читайте и не заглядывайте».

Я свято это исполнила и после уже узнала, что они состояли в следующем:

Как в ненастные дни, собирались они  
Часто.  
Гнули, бог их прости, от пятидесяти  
На сто.  
И отписывали, и приписывали  
Мелом.  
Так в ненастные дни, занимались они  
Делом<sup>44</sup>.

Эти стихи он написал у князя Голицына, во время карточной игры, мелом на рукаве. Пушкин очень любил карты и говорил, что это его единственная привязанность. Он был, как все игроки, суеверен, и раз, когда я попросила у него денег для одного бедного семейства, он, отдавая последние 50 руб., сказал: «Счастье ваше, что я вчера проиграл».

По отъезде отца и сестры из Петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвиг<sup>45</sup>, и была свидетельницей свидания его с Пушкиным. Последний, узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях.

В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его: Лангер, князь Эристов, Яковлев, Комовский и Илличевский<sup>46</sup>.

Илличевский написал мне следующее послание:

Близ тебя в восторге нем,  
Пью отраду и веселье,  
Без тебя я жадно ем  
Фабрики твоей изделье<sup>1)</sup>.  
Ты так сладостно мила,  
Люди скажут: небылица,  
Чтоб тебя подчас могла  
Мне напоминать горчица.—  
Без горчицы всякий стол  
Мне теперь сухоеденье;  
Честолюбцу льстит престол —  
Мне ж — горчицницей владенье.  
Но угодно так судьбе,  
Ни вдова ты, ни девица,  
И моя любовь к тебе  
После ужина горчица.



Он называл меня:

Сердец царица,  
Горчичная мастерица!

(<sup>1</sup>) Отец мой имел горчичную фабрику.)

Кроме этих, приходили на вечера: Подолинский, Щастный<sup>47</sup>, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх. Иногда также являлся Сергей Голицын<sup>48</sup> и Михаил Иванович Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу.

Тут кстати заметить, что Пушкин говорил часто: «Злы только дураки и дети». Несмотря, однако ж, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах, но всегда раскаивался. Так, однажды, когда он мне сказал какую-то злую фразу и я ему заметила: «*Нехорошо нападать на такого беззащитного человека*», – обезоруженный моею фразой, он искренно начал извиняться. В поступках он всегда был добр и великодушен.

На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич<sup>49</sup>. Вот кто был постоянно любезен и приятен. Какое бесподобное существо! Нам было всегда весело, когда он приезжал. Не помню, встречался ли он часто с Пушкиным, но знаю, что

Пушкин и Дельвиг его уважали и любили. Да что мудреного? Он был так мягок, благодушен, так ласково приноровлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые он тут же сочинял, и был занимателен для всех и каждого.

Сказки в нашем кружке были в моде, потому что многие из нас верили в чудесное, в привидения и любили все сверхъестественное. Среди таких бесед многие из тогдашних писателей читали свои произведения. Так, например, Щастный читал нам Фариса, переведенного им тогда, и заслужил всеобщее одобрение. За этот перевод Дельвиг очень благоволил к нему, хотя вообще Щастный как поэт был гораздо ниже других второстепенных писателей. Среди этих последних видное место занимал Подолинский, и многими его стихами восхищался Пушкин<sup>50</sup>. Особенно нравились ему следующие:

Портрет  
Когда, стройна и светлоока,  
Передо мной стоит она,  
Я мыслю: Гурия Пророка  
С небес на землю сведена.  
Коса и кудри темно-русы,  
Наряд небрежный и простой,  
И на груди роскошной бусы  
Роскошно зыблются порой.  
Весны и лета сочетанье  
В живом огне ее очей  
Рождают негу и желанье  
В груди тоскующей моей.

И окончание стихов под заглавием: «К ней»:

Так ночью летнею младенца,

Земли роскошной поселенца,  
Звезда манит издалека,  
Но он к ней тянется напрасно...  
Звезды златой, звезды прекрасной,  
Не достигнет его рука.

Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена<sup>51</sup>:

Неумолимая, ты не хотела жить...—

передразнивая его и голос и выговор.

Зима прошла. Пушкин уехал в Москву<sup>52</sup> и хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более пяти раз с ним встречалась. Когда я имела несчастье лишиться матери<sup>53</sup> и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал, со свойственной ему живостью, по всем соседним дворам, пока наконец нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме<sup>54</sup>, которая принимала во мне участие; ласкал мою маленькую дочь Ольгу<sup>55</sup>, забавляясь, что она на вопрос: «Как тебя зовут?» – отвечала: «Воля!» – и вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им, как гением добра. Пусть этим словом окончатся мои воспоминания о великом поэте.

## Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке

*То зеркало лишь хорошо, которое верно отражает.*

При воспоминании прошедшего я часто и долго останавливаюсь на том времени, которое ознаменовалось поэтической деятельностью Пушкина и отметились в жизни общества страстью к чтению, литературным занятиям и, если не ошибаюсь, необыкновенною жаждою удовольствий. И тогда снова оживает передо мною доброе старое время, кипевшее избытком молодых сил. Я вижу веселый, беспечный кружок поэтов той эпохи, живший грезами о счастье и по возможности избегавший тягости труда. Из него выделяются в моем воспоминании с особенною ясностью: Пушкин, Дельвиг и Глинка.

Художественные создания Пушкина, развивая в обществе чувство к изящному, возбуждали желание умно и шумно повеселиться, а подчас и покутить. Весь кружок даровитых писателей и друзей, группировавшихся около Пушкина, носил на себе характер беспечного, любящего пображничать русского барина, быть может, еще в большей степени, нежели современное ему общество. В этом молодом кружке преобладала любезность и раздольная, игривая веселость, блестяло неистощимое остроумие, высшим образцом которого был Пушкин. Но душою всей этой счастливой семьи поэтов был Дельвиг, у которого в доме чаще всего они и собирались<sup>1</sup>.

Дельвиг соединял в себе все качества, из которых слагается симпатичная личность. Любезный, радушный хозяин, он умел счастливить всех, имевших к нему доступ.

Благодаря своему истинно британскому юмору он шутил всегда остроумно, не оскорбляя никого. В этом отношении Пушкин резко от него отличался: у Пушкина часто проглядывало беспокойное расположение духа. Великий поэт не был чужд странных выходок, нередко напоминавших фразу Фигаро: «Ах, как они глупы, эти умные люди», и его шутка часто превращалась в сарказм, который, вероятно, имел основание в глубоко возмущенном действительно духе поэта. Это маленькое сравнение может объяснить, почему Пушкин не был хозяином кружка, увлекавшегося его гением. Не позволяя себе дальнейшей параллели между характерами двух друзей, перехожу к моим воспоминаниям о Дельвиге, в которых коснулся также нескольких случаев из жизни Пушкина и Глинки, нашего гениального композитора.

Мы никогда не видали Дельвига скучным или неприязненным к кому-либо. Может быть, та же самая любовь спокойствия, которая мешала ему быть деятельным, делала его до крайности снисходительным ко всем, и даже в особенности к слугам. Они обращались с ним запанибрата, и, что бы ни сделали они, вместо выражений гнева Дельвиг говорил только «забавно». Но очень может быть, что причина его снисходительности к служащим ему людям была разумнее и глубже и заключалась в терпимости, даже в великодушии.

Дельвиг любил доставлять другим удовольствия и мастер был устраивать их и изобретать. Не помню, чтобы он один или с женою ездил когда-нибудь на балы или танцевальные вечера; но зато любил загородные поездки, катанья экспромтом или же ужин дома с хорошим вином, которым любил потчевать дам, посмеиваясь, что действие вина всегда весело и благотельно. Между многими катаньями за город мне памятна одна зимняя поездка в Красный Кабачок<sup>2</sup>, куда Дельвиг возил нас на вафли. Мы там нашли совершенно пустую залу и одну бедную девушку, арфянку, которая чрезвычайно обрадовалась нашему посещению и пела нам с особенным усердием. Под звуки ее арфы мы протанцевали мазурку и, освещенные луною, возвратились домой. В катанье участвовали, кроме Дельвига, жены его<sup>3</sup> и меня, Сомов<sup>4</sup>, всегда интересный собеседник и усердный сотрудник Дельвига по изданию «Северные цветы», и двоюродный брат мой А.Н. Вульф.

Кроме прелести неожиданных импровизированных удовольствий, Дельвиг любил, чтобы при них были и хорошее вино, и вкусный стол. Он с детства привык к хорошей кухне; эта слабость вошла у него в привычку. Любя хорошо поесть, он избегал обедов у хозяев не гастрономов; так, однажды, по случаю обеда у Пушкиных, не любивших роскошного стола, он написал Александру Сергеевичу шуточное четверостишие, которое начинается так:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать...

Юмор Дельвига, его гостеприимство и деликатность часто наводили меня на мысль о Вальтере Скотте, с которым, казалось мне, у него было сходство в домашней жизни. В его поэтической душе была какая-то детская ясность, сообщавшая собеседникам безмятежное чувство счастья, которым проникнут был сам поэт. Этой особенностью Дельвига восхищался Пушкин. Прочитав в Одессе романс Дельвига «Прекрасный день, счастливый день, и солнце и любовь...», в котором так много ясности и счастья, он говорил, что прочувствовал вполне это младенческое излияние поэтической души Дельвига и что самое стихосложение этого романса верно передало ему всю светлость чистого чувства любви поэта. Он восхищался притом другими пьесами Дельвига, равно как и поэзией Баратынского. Эти три поэта были связаны глубокой симпатией. Баратынский присылал Дельвигу свои сочинения до отсылки в печать, и последний отдавал их переписывать жене. Баратынский никогда не ставил знаков препинания, кроме запятой; Дельвиг знал эту особенность своего друга и, отдавая жене стихи его, всегда говорил: «Пиши, Сонинька, до точки». Дельвиг рассказывал однажды, будто Баратынский спрашивал у него: «Что называешь ты родительным падежом?»

Дельвиг жил на Владимирской улице, в доме Кувшинникова, ныне Олферовского. По утрам он обыкновенно занимался в своем маленьком кабинете, отделенном от передней простоя из зеленой тафты перегородкой. В этом кабинетике случилось однажды несчастье с песнями Беранже: их разорвал маленький щенок тернёв, и Дельвиг воспел это несчастье в юмористических стихах, из которых, к сожалению, я помню только следующие:

Хвостова кипа тут лежала,  
А Беранже не уцелел!  
За то его собака съела,  
Что в песнях он собаку съел.

Эта песня была включена в репертуар, который распевали мы у него по вечерам целым хором. Два раза в неделю собирались к нему лицеисты – товарищи и друзья. Как веселы бывали эти беседы!..

Одно время я занимала маленькую квартиру в том же доме. Софья Михайловна, жена Дельвига, приходила по утрам в мой кабинет заниматься корректурой «Северных цветов»; потом мы вместе читали, работали и учились итальянскому языку у г. Лангера, тоже лицеиста. Остальную часть дня я проводила в семействе Дельвига. У них собирались не с одною только целью беседовать, но и читать что-нибудь новое, написанное посетителями, и услышать мнение Дельвига, пользовавшегося репутацией проницательного и беспристрастного ценителя. Во всем кружке была родственная простота и симпатия; дружба, шутка и забавные эпитеты, которые придавались чуть не каждому члену маленькой республики, могут служить характеристикою этой детски веселой семьи.

Однажды Дельвиг и его жена отправились, взяв с собою и меня, к одному знакомому ему семейству; представляя жену, Дельвиг сказал: «Это моя жена», и потом, указывая на меня: «А это вторая». Шутка эта получила право гражданства в нашем кружке, и Дельвиг повторил ее, надписав на подаренном мне экземпляре поэмы Баратынского «Бал»: «Жене № 2-й от мужа

безномерного». Кроме этого подарка на память, он написал в мой альбом свои стихи: «Дева и Роза» и «На смерть Веневитинова»<sup>5</sup>. В семье Дельвига я чувствовала себя как дома, а когда они уехали в Харьков, баронесса пересылала мне экспромты Дельвига. Из числа их я помню следующий:

Я в Курске, милые друзья,  
И в Полторацкого таверне  
Живее вспоминаю я  
О деве Лизе, даме Керне!

Преданный друзьям, Дельвиг в то же время был нежен и к родным. Я помню, как ласкал он своих маленьких братьев<sup>6</sup>, семи- и восьмилетних малюток, выписав их вскоре по возвращении своем из Харькова. Старшего, Александра, он звал классиком, а меньшего, Ивана, романтиком и под этими именами представил их однажды Пушкину. Александр Сергеевич нежно ласкал их, и когда Дельвиг объявил, что меньшей уже сочинил стихи, он— пожелал их услышать, и малютка-поэт, не конфузясь нимало, медленно и внятно произнес, положив обе ручонки в руки Пушкина:

Индиянди, Индиянди, Индия!  
Индиянда! Индиянда! Индия!

Александр Сергеевич, погладив поэта по голове, поцеловал и сказал: «Он точно романтик».

Дружба Пушкина с Дельвигом так тесно соединяла их, что, вспоминая о последнем, нельзя умолчать о Пушкине, завоевавшем себе внимание всего кружка и бывшем часто предметом разговоров и даже переписки его дружных членов; так, например, незадолго до женитьбы Пушкина Софья Михайловна Дельвиг писала ко мне с дачи в город<sup>7</sup>: и *«Лев уехал вчера... Александр Сергеевич вернулся вчера. Говорят, влюблен больше, чем когда-нибудь, между тем почти не говорит о ней. Свадьба будет в сентябре»*.

Действительно, в этот период, перед женитьбою своей, Пушкин казался совсем другим человеком. Он был серьезен, важен, молчалив, заметно было, что его постоянно проникало сознание великой обязанности счастливить любимое существо, с которым он готовился соединить свою судьбу, и, может быть, предчувствие тех неотвратимых обстоятельств, которые могли родиться в будущем от серьезного и нового его шага в жизни и самой перемены его положения в обществе. Встречая его после женитьбы всегда таким же серьезным, я убедилась, что в характере поэта произошла глубокая, разительная перемена. Но мои воспоминания в доме Дельвига относятся более ко времени первой беспечной поры жизни Пушкина. Помню, как он, узнав о возвращении Дельвига из Харькова и спеша обнять его, вбежал на двор; помню его развевающийся плащ и сияющее радостью лицо... Другое воспоминание мое о Пушкине относится к свадьбе сестры его<sup>8</sup>. Дельвиг был тогда в отлучке. В его квартире я с Александром Сергеевичем встречала и благословляла новобрачных. Расскажу подробно это обстоятельство.

Мать Пушкина, Надежда Осиповна, вручая мне икону и хлеб, сказала: *«Замените меня, мой друг, вручаю вам образ, благословите им мою дочь!»* Я с любовью приняла это трогательное поручение и, расспросив о порядке обряда, отправилась вместе с Александром Сергеевичем в старой фамильной карете его родителей на квартиру Дельвига, которая была приготовлена для новобрачных. Был январь месяц, мороз трещал страшный, Пушкин, всегда задумчивый и грустный в торжественных случаях, не прерывал молчания. Но вдруг, стараясь показаться веселым, вздумал заметить, что еще никогда не видал меня одну: *«А ведь мы с*

вами в первый раз вдвоем, сударыня»; мне показалось, что эта фраза была внушена желанием скрыть свои размышления по случаю важного события в жизни нежно любимой им сестры; а потому, без лишних объяснений, я сказала только, что этот необыкновенный случай отмечен сильным морозом. «Вы правы, 27 градусов», – повторил Пушкин, плотнее закутываясь в шубу. Так кончилась эта попытка завязать разговор и быть любезным. Она уже не возобновилась во всю дорогу. Стужа давала себя чувствовать, и в квартире Дельвига, долго дожидаясь приезда молодых, я прохаживалась по комнате, укутываясь в кацавейку; по поводу ее Пушкин сказал, что я похожа в ней на царицу Ольгу. Поэт старался любезностью и вниманием выразить свою благодарность за участие, принимаемое мною в столь важном событии в жизни его сестры.

Он всегда сочувствовал великодушному порыву добрых стремлений. Так, однажды отец госпожи Н.<sup>9</sup>, рассказывая Пушкину про случай с одним семейством, при котором необходимо было присутствие близкого человека, осуждал неблагоразумную чувствительность своей дочери, которая прямо с постели, накинув салоп, побежала к нуждавшимся в ее помощи, сказала: «И эта дура, несмотря на морозную ночь, в одной почти рубашке побежала через Фонтанку!»

Пушкин сидел на диване, поджав ноги; услышав этот рассказ, он вскочил и, схватив обе руки у госпожи П., с жаром поцеловал их. Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное. Сам он почти никогда не выражал чувств; он как бы стыдился их и в этом был сыном своего века, про который сам же сказал, что чувство было дико и смешно<sup>10</sup>. Острое красное словцо – *la repartie vive* – вот что несказанно тешило его. Впрочем, Пушкин увлекался не одними остроумиями; ему, например, очень понравилось однажды, когда я на его резкую выходку отвечала выговором: «Зачем вы на меня нападаете, ведь я такая безобидная!» И он повторял: «Как это верно сказано: действительно, такая безобидная!» Продолжая далее, он заметил: «Да, с вами не весело и ссориться, то ли дело ваша кузина, вот тут есть с кем ссориться!»

Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотою в характере женщин, заключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени. При этом мне пришла на память еще одна забавная сцена, разыгранная Пушкиным в квартире Дельвига, занимаемой мною с семейством по случаю отсутствия хозяев. Сестра его и я сидели у окна, читая книгу. Пушкин подсел ко мне и, между прочими нежностями, сказал: «Дайте ручку, *c'est si satin!*», я отвечала: «*Satan!*» Тогда сестра поэта заметила, что не понимает, как можно отказывать просьбам Пушкина, что так понравилось поэту, что он бросился перед нею на колени; в эту минуту входит А.Н. Вульф и хлопает в ладоши... Сюда же можно отнести и отзыв поэта о постоянстве в любви, которою он, казалось, всегда шутил, как и поцелуем руки; но это, по всей вероятности, было притворною данью веку... Однажды, говоря о женщине, которая его страстно любила<sup>11</sup>, он сказал: «*И потом, знаете ли, нет ничего безвкуснее долготерпения и самоотверженности*». Но, как я уже заметила, женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он на все смотрел серьезнее, а все-таки остался верен привычке своей скрывать чувство и стыдиться его. В ответ на поздравление с неожиданною способностью женатым вести себя как прилично любящему мужу, он шутя отвечал: «*Я просто хитер*». После женитьбы я видела его раз у его родителей во время их обеда. Он сидел за столом, но ничего не ел. Старики потчевали его то тем, то другим кушаньем, но он

«Настоящий атлас!» – «Сатана!» (Игра слов: *satin* – атлас, *sa-tan* – сатана (*фр.*)

от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом своего батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему, предлагая гуся с кислую капустою: «*Это шотландское блюдо*», заметив при этом,

что он никогда ничего не ест до обеда, а обедает в 6 часов. Быв холостым, он редко обедал у родителей, а после женитьбы почти никогда. Когда же это случалось, то после обеда на него иногда находила хандра. Однажды в таком мрачном расположении духа он стоял в гостиной у камина, заложив назад руки... Подошел к нему Илличевский и сказал:

У печки погружен в молчаньи,  
Поднявши фрак, он спину грел,  
И никого во всей компании  
Благословить он не хотел<sup>12</sup>.

Это развеселило Пушкина, и он сделался олень любезен. Потом я его еще раз встретила с женою у родителей, незадолго до смерти матери<sup>13</sup>. Она уже тогда не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам; Пушкины сидели рядом на маленьком диване у стены. Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью; а Александр Сергеевич, не спуская глаз с матери, держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как бы выражая тем ласку к жене и ласку к матери; он при этом ничего не говорил.

Кроме Пушкина, еще один из друзей Дельвига, еще одна симпатичная личность влечет к себе мои воспоминания. Это наш поэт-музыкант Глинка; я познакомилась с ним в 1826 году.

В это время еще немногие жилали летом на дачах. Проводившие его в Петербурге любили гулять в Юсуповом саду, на Садовой. Однажды, гуляя там в обществе двух девиц и Александра Сергеевича Пушкина<sup>14</sup>, я встретила генерала Базена<sup>15</sup>, моего хорошего знакомого. Он пригласил нас к себе на чай и при этом представил мне Глинку, говоря: *«Прекрасного чаю обещать не стану, ибо не знаю в нем толку, но зато обещаю чудесное общество: вы услышите Глинку, одного из первых наших пианистов»*. Тогда молодой человек, шедший в стороне, сделал шаг вперед, грациозно поклонился и пошел подле Пушкина, с которым был уже знаком и прежде<sup>16</sup>. Лишь только мы вошли в квартиру Базена, очень просто меблированную, и уселись на диван, хозяин предложил Глинке сыграть что-нибудь. Нашему хозяину очень хотелось, чтобы Глинка импровизировал, к чему имел гениальные способности, а потому Базен просил нас дать тему для предполагаемой импровизации и спеть какую-нибудь русскую или малороссийскую песню. Мы не решались, и сам Базен запел малороссийскую простонародную песню с очень простым мотивом:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.